

Журнал "Роман-газета"

№01, 1967

УДК 82-3
ББК 84
Ж92

Ж92 Журнал "Роман-газета": №01, 1967 / – М.: Книга по Требованию, 2022. – 131 с.

ISBN 978-5-458-61375-0

«Роман-газета» — советский и российский литературный журнал, издавался ежемесячно с 1927 года и дважды в месяц с 1957. На его страницах опубликованы лучшие произведения отечественной литературы. Печатались Шолохов и Леонов, Твардовский и Шмелёв, Распутин и Белов, Ахматова и Солоухин, Проскурин и Солженицын, Пиккуль и Чивилихин, Балашов и Алексеев, Дудинцев и Успенский, Астафьев и Лихоносов, Бондарев и Бородин и многие другие.

ISBN 978-5-458-61375-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

— Человек добрый, а куда все-таки пове-
зешь нашего хозяина?

Матросы встали и пошли к выходу.

— Елена...

Репнин взглянул на дверь, что вела в ком-
нату дочери, и шагнул вслед за матросами.

— Елена! — крикнул он с улицы и запнул-
ся — дочь шла за ним, она была в шубе.

— Куда собралась, дочка?

Но Елена даже не замедлила шага.

— Ты думаешь, я отпущу тебя одного? —
произнесла она.

Кокорев зябко передернул плечами, точно
от этих слов Елены потянуло ветерком:

— А я что, не внушаю доверия?

— Прошу вас, — произнесла Елена.

Молодой человек быстро пошел к автомо-
билю:

— Садитесь.

2

Они ехали уже минут пятнадцать. Плоские
штыки матросов тускло поблескивали.

Репнин думал: «Да не на Шпалерную ли он
меня везет? Туда в эти дни свозили всех ава-
ных и незваных».

Машина взбралась на Троицкий мост и оста-
новилась — заглох мотор. Сразу стало ветрено.

— Страшно вато смотреть на дворец, —
сказала Елена.

Молодой человек вобрал голову в плечи,
мрачно откликнулся:

— И на Петропавловку.

Репнин смолчал. Что-то было в этом воен-
ном озлобленно-воинственное, неутоленное. На-
верно, так бывает с человеком, который только
что вышел из боя. Он не остыл и все еще дер-
жит саблю над головой.

Слабый дымок возник над помятым радиа-
тором машины и исчез — автомобиль двинулся
дальше.

Невский лед, запорошенный снегом, был
расчерчен тропами. У моста лед вспух, и чер-
ная тропка подступила к воде, — видно, послед-
ний смельчак перешел здесь Неву накануне ве-
чером. А дальше, прямо на льду, устойчиво и
неярко горел костер, и низкое пламя отража-
лось в неживых просветах салтыковского дома.

Репнин перехватил взгляд дочери, более су-
мрачный, чем прежде. «Вот и она затревожи-
лась не на шутку, — подумал он. — Может,
спросить этого седого мальчишка: «Простите, а не
на Шпалерную ли мы держим путь?» Впрочем,
если наш путь туда, конвойные должны вести
себя иначе, да и Шпалерная осталась в сто-
роне...»

— Вы говорите по-французски, молодой че-
ловек? — спросил Репнин.

Кокорев помедлил с ответом.

— На ваш взгляд, для солдатской службы
русского недостаточно?

— Не по-немецки же вы говорили с нем-
цами, когда ходили к ним с белым флагом? —
бросил Репнин, однако тут же стал серьез-
ным — Кокорев не ответил на улыбку. — Я
просто знаю, — сказал Николай Алексеевич
уступчиво, — переговоры там велись по-фран-
цузски.

— Верно, по-французски, — внимательно
посмотрел на Репнина Кокорев и вновь осу-
тил плечи. Ветер гнал над Невой облако снеж-
ной пыли. — Но признайтесь, — сказал Кокорев,
не сводя глаз с облака. — Признайтесь, не
очень-то уютно ехать с человеком, который хо-
дил к немцам с белым флагом?

— И это верно, — добродушно усмехнулся
Репнин: ему не хотелось без крайней нужды
обострять разговор. — Невелика гордость под-
писаться под таким мивром, хотя обстоятельства
могут заставить каждого... стать парламенте-
ром. Сам-то человек не вызовется.

— А я сам вызвался, — обернулся к Реп-
нину Кокорев, и острые, с косинкой глаза его
сверкнули.

Вновь взвилось над Невой снежное облако,
взвилось выше каменного борта, в пороша, же-
сткая и льдястая, ударила в лицо.

— Знаете ли вы такое местечко... Арда-
ган? — вдруг закричал Кокорев, стараясь пере-
силить голосом ветер. Репнин определенно за-
дел его за живое. — Ардаган. Слышали? В ян-
варе там погиб мой отец, полковой хирург... —
Кокореву казалось, что его плохо слышат, и он
пытался повернуться к сидящим позади и, глав-
ное, произносить каждое слово громко. — Гау-
бичный снаряд попал в палатку! Там отец тачал
книжки солдату, попавшему под обстрел «мак-
сыма», — Кокорев умолил, дожидаясь, когда
прошумит снежное облако: он потерял надежду
перекричать его. — Так я хочу сказать, — про-
изнес он неожиданно тихим голосом, когда ве-
тер несколько смирился, — хочу сказать, что
взял белый флаг потому, что думал об отце... —
Кокорев снял варежку и вытер сухой ладонью
разожженное ветром лицо. — Когда мы выбра-
лись из кольцевого окопа (слышите: была ночь,
в ноябре там в четыре часа ночи!), когда вы-
брались из окопа и открытым полем, как полага-
ется, с белым флагом и трубачом пошагали
к немецким позициям, я все время ловил себя
на мысли: «Случись это раньше — отец был
бы жив». И позже, когда посреди поля, пере-
хваченного колючей проволокой, нас встретили
германские генштабисты, и еще позже, когда,
точно на прием в потсдамскую резиденцию
Вильгельма, к нам явился штабной генерал,
одетый по сему случаю в парадный мундир с
крестами, звездами, лентой через плечо, я ду-
мал об отце: «Случись это раньше...» — Кокорев

рев посмотрел в пролет Невы, ветер улегся, и далеко сирова глянули колонны Биржи, сейчас невесомые. — И еще позже, когда возвращались через поле с завязанными глазами (прежде чем отпустить, нам завязали глаза): «Случись это раньше... Он был бы жив...»

Кокорев умолк, а Репнин посмотрел вокруг: Зимний был над ними, мертвый, безгласный, с черными прямоугольниками окон.

И Репнин вдруг вспомнил светозарный августовский день четырнадцатого года и торжественную службу на второй день войны. К чему кривить душой: все казалось ему в тот день таким искренним и настоящим. И золотое летнее солнце на паркете, и бледные, в волнении лица офицеров, и сохранные голоса хора, поющего литургию, и сдержанный баритон дворцового священника, читающего манифест царя народу, и блеск иконы Казанской божьей матери, той самой, перед которой в горячей молитве преклонил колена Кутузов, отправляясь вслед армии, идущей на сближение с Наполеоном. Когда переполненный зал откликнулся на манифест вдохновенным «ура», слезы застлали глаза Репнина и он подумал: «Вот она, истинная Россия, и нет силы, которая повернет ее».

А сейчас он ехал мимо Зимнего дворца, и все сто окон, сто слепых окон, молча следили за движением автомобиля, и обнаженные штыки мерно покачивались над головами Репниных — отца и дочери. Репнин взял руки Елены и приник к ним губами.

— Что с тобой, папа?

Ему хотелось сказать ей что-то значительное, что чувствовал он в эту минуту, но не мог. Он знал, что пока она вот здесь, пока она с ним, все будет хорошо. Странное дело, но он ни о чем не хотел больше думать, ни о чем, даже о том жестоком и горьком, что поведал сейчас Кокорев. Не хотел думать...

3

В дедовском доме Репниных в Москве на Остоженке в резной черного дерева шкатулке, привезенной бог знает кем из очередного турецкого похода, хранились семь драгоценных листиков, уложенных в мягкую папку. Николай помнит, что лишь однажды дед показал ему бумаги, показав, не выпуская из рук. Был сентябрь, и вечернее солнце пахло осенней пылью. Дед смотрел на солнце, точно видел его в последний раз. Из всего, что сказал тогда дед, Николай запомнил одну фразу:

«Дальний наш предок, первый, самый первый, ходил с войском царя Ивана Васильевича на Казань и лежит на кремлевском холме у собора...»

Странно было слышать: «наш предок». До сих пор первым из Репниных Николай считал деда. Оказывается, кроме деда, еще были первые. Значит, их седины были ярче дедовских, и бороды длиннее, и кряхтели они погромче, и ворчали почаще, и припадали на правую ногу покрепче... Как только они передвигались, эти самые первые Репнины?

— Первый Репнин... — сказал дед и закрыл окно, в комнате вдруг запахло табаком и канифолью.

Много лет спустя, когда молодой Репнин думал о деде, тот вспоминался ему вместе с запахом табака и почему-то канифоли, Николаю тогда казалось, что это и есть запах старости. А потом они ходили с дедом в Кремль и долго стояли на паперти собора. В полумраке горели свечи, из собора несло холодом.

— Там все государи, — ткнул дед во тьму. — А наш где-то тут, — оглядел он кремлевский двор. — Да, тут лежит твой и мой пра-родитель. Не Желнин какой-нибудь, бондарь вонючий, а наш с тобой праотец.

Николай подумал тогда: «А при чем здесь Желнин, в самом деле? И почему он бондарь и притом вонючий, когда известно, что он гофмейстер и едва ли не посол при английском дворе? При чем здесь Желнин?»

Николай прожил в Москве до двенадцати лет, и Москва запомнилась ему домашней: уроки — домашние, спектакли — домашние, а нередко и церковь домовая.

А потом приехал отец из Петербурга — он всегда приезжал на рождество и пасху — и спросил:

— Как твоя латынь? Нет, нет, не табель, — и, не дождавшись ответа, заметил: — Недаром же мы тридцать лет собирали фамильное се-ребро...

В смысл этой фразы Николай Репнин про-ник много позже. В словах этих был и упрек, и надежда. Упрек брату Илье: двадцать лет он отдал дипломатии, а посольский пост был от него так же далек, как и в первый год службы. А надежда? Отец хотел связать ее с именем младшего чада — то, что не удалось старшему, отец желал младшему.

— Дело не только в рвении, — рассуждал вслух отец. — Не в этом дело... Обеднели мы!

«Обеднели!» Не было для Алексея Репнина беды страшнее. Нет, суть не в том, что с Фонтанки Репнины переселились едва ли не в Новую Деревню, и даже не в том, что Черная речка намертво отрезала от Репниных большой свет. Все, что свершилось, свершилось не на Фонтанке и даже не на Черной речке, а на Дворцовой, шесть. Странное дело, но министер-ское начальство повело себя с Алексеем Реп-ниным так, как если бы он вдруг перестал быть дворянином и обратился бы в инородца, кото-

рые и на правах просителей бывали на Дворцовой нечасто. Беспощадны признаки оскудения: у Алексея Репнина уже не просили протекции. Министр общался с ним не иначе, как через третье лицо, и коллеги дружно заболели, когда надо было ехать к Репнину, хотя Алексей Петрович не давал повода ни министру, ни сослуживцам вести себя так. Он неукоснительно соблюдал все нормы света, и один бог знал, что стоило это Репнину. Пусть будут ростовщики и неоплаченные векселя. Пусть будут даже ломбарды и заложенное серебро, лишь бы сохранить большие и малые условности и не выпасть из лодки, которая зовется светом. Однако все можно скрыть — очень трудно скрыть бедность. Где-то она обманула бдительность Репнина, и тайное стало явным. Как ни велико было презрение Алексея Петровича к разночинцам, по строю быта и общественному положению он все меньше отличался от них. Да, Алексей Репнин, гордившийся родовитостью, не без горечи сознавал, что одной ее, даже в сочетании с блестящими способностями, недостаточно. И он мучительно думал, как восполнить недостаток капитала.

— Восточные языки — вот главное! — воскликнул он. — На восточные языки их недостает... — Он не без иронии произносил «их», что совершенно определенно означало «тех... не столько родовитых, сколько имущих».

Но в решительный момент Алексей Репнин раздумал делать сына драгоманом. Этот путь слишком очевидно обнаруживал недостаток состояния, чем не преминули бы воспользоваться в междоусобной вражде недруги Репниных. Да и к изучению восточных языков, как средству стать дипломатом, все чаще прибегали купцы и немцы. А какой смысл Репнину низводить себя до положения менялы?

— А может, есть способ обрести те же привилегии, но другой ценой?

Кто-то подсказал ему: есть дисциплина, которая дает те же преимущества, что и восточные языки, — международное право.

— Ты думаешь, сын, бондари вонючие Желнины талантливее нас? Какое там! В их роду не было математиков и физиков, а у нас их сколько: Мавриний да Захарий с Назарием! Желнины! Не столько царь в голове, сколько рубль в мошле! Нет, «не торговал мой дед блинами, не ваксил царских сапогов»...

Опять Желнины и опять бондари вонючие, подумал Николай. Что-то эти слова подозрительно походили на слова деда, произнесенные им в тот памятный день на паперти кремлевского храма. Откуда эта неприязнь? Казалось, многое, что делает человека сильным, на ущербе: и состояние, и интерес к жизни. Человек не питает уже прежней любви к почестям, а неприязнь к давним недругам осталась. Чудилось,

только она и способна возбуждать энергию, звать и двигать к цели.

Отец увлек сына из дому и словно предупредил этим, сколь значителен будет разговор. Они шли вдоль каменного барьера Невы от Троицкого моста к Летнему саду. Плоский камень мостовой был скользким — только что выпал дождь, и отец стучал палкой усерднее, чем обычно. Этот напряженный стук как бы подчеркивал: главное, самое главное Николаю Репнину еще предстоит услышать. Наконец они дошли до Летнего сада и тенистой аллеюшкой проникли в его заповедный уголок. Здесь было прохладно и тихо, где-то высоко над городом ветер растолкал тучи, и на сухой песок упал блик.

— Вот что, Николай, — сказал отец. — Ты должен вернуть былую славу Репниным... — Он поднял голову и посмотрел на солнечный луч, пробившийся сквозь листву. — У тебя для этого есть больше, чем было у твоего брата, и быть может... — Он все еще смотрел на дымный лучик, и Николай, к изумлению, увидел, как дряблые веки отца выронили по слезнице. — и, быть может, — продолжал он, — у меня... Обещай, что сделаешь.

Он часто заморгал, будто ослепляла струйка солнца, протянувшаяся от невысокой ветви к земле. «Ну вот, сейчас он еще раз вспомнит Желниных, и все встанет на свое место», — подумал Николай.

— Да, да, покажи этим мерзавцам Желниным... — произнес отец, точно угадав мысль сына, и его голос неожиданно обрел силу.

Странное дело, Николай не питал к Желниным той ненависти, какую хотел внушить отец, и плохо понимал, какие, в сущности, причины могли вызвать неприязнь к этой семье, чтобы неприязнь эта стала едва ли не призванием, смыслом жизни. Но отец потребовал, и Николай, не обнаруживая сомнений, обещал.

Отец умер, пораженный склерозом, как двумя годами раньше умер дед. Николай сдержал слово, хотя и не сберег ненависти к Желниным. Он женился на Марии, племяннице тех самых Желниных, которых отец наказывал предать анафеме.

Из того, что когда-то Алексей Репнин говорил сыну, в памяти осталась жесткая формула: «Достоинство что позвонок, без него человек рухнет». Николаю была близка эта заповедь отца. Однако за образец он принял иной строй жизни. На годы и годы он сознательно порвал со светом, уединился на Черной речке. Книга да, пожалуй, токарный станок (мастерской, которую он соорудил и оборудовал, позавидовал бы любой токарь) были в эти годы его отрадой.

Расчет старого Репнина оказался верным: международное право явилось для его сына тем пушечным ядром, которое проломило крепост-

ную стену министерства. Но одно дело войти в министерство, другое — там утвердиться. Вскоре оказалось, что для российского иностранного ведомства Николай Репнин был чем-то вроде ученого немца — его место в министерстве было навечно заключено в своеобразный круг. Дипломат-клерк, дипломат без связей, живого языка в общении, дипломат без заграничной практики — вряд ли эта перспектива могла радовать Репнина. Николай Алексеевич стал протиснуться за границу. Согласно на заграничный пост удалось получить не без труда. На сборы дали месяц — Репнин сполна использовал его. Пять больших обитых жестью чемоданов погрузили в петербургском порту. В них вместе с платьем Николая Алексеевича и жены (со времен думных дьяков и подьячих русские дипломаты не выезжали в чужие страны без сундука с мехами), вместе с подарками для английских друзей (вино из небогатых фамильных подвалов да водка-белоголовка не исключались), вместе со столовым серебром и, разумеется, словарями лежали связки резцов, долот и сверл — с годами изменились и Репнины.

Необыкновенно проявилось дипломатическое дарование Николая Алексеевича в это первое пребывание за границей: его ум, его такт, его обаяние, его, наконец, умение видеть людей и находить ключи к их сердцу. У него сложился свой взгляд на профессию дипломата. «Не недооценить сил противника, не обмануться в своих силах», — в этой формуле сказался и характер Репнина, и его понимание своей профессии и места в жизни. Из великих дипломатов прошлого его кумиром оставался Горчаков. В Бисмарке он не принимал фаворизма, в Талейране — авантюры. Горчаков был консервативнее в своих средствах, внешне не так ярок, как эти два, но основательнее в познаниях и, главное, в поступках, а потому надежнее. Среди полководцев, не только русских, его симпатии неразделимо были на стороне Кутузова — превыше всего Репнин ценил в нем мудрое спокойствие, пренебрежение к фразе, умение видеть все грани события, понимание того, что человек может, а что ему не под силу. И не только это пленяло Репнина в старом полководце, но и способность того оградить себя от лицемеров (они, как чертополох, могли расти и на камне), его умение не поддаваться тщеславию.

Репнин овдовел, когда дочери было девять. Не без помощи родной тетки (Желниной, разумеется) Николай Алексеевич определил Елену в Смольный институт. Репнин не обманулся в дочери. В ней угадывался математический талант Репниных (вои как своеобразно глянули на свет Захарий с Назарием), хотя Елена видела свое будущее иным... Среди сверстниц она слыла существом во многом загадочным.

Вот пойми, почему она иногда носит обручальное кольцо? Одни говорили, что кольцо — семейная реликвия и Елена надела его как память о матери. Другие считали, что Елена надела кольцо, чтобы оградить себя от случайных ухажеров. Третьи полагали, что девочке не терпится заглянуть в завтра и почувствовать себя взрослой.

Старший, Илья, жил вместе с братом. Жизнь у него сложилась нескладно. В Балканскую в Черногории в поездке к русским генштабистам, несущим разведывательную службу в горах, пытался с чисто репинской одержимостью проложить дорогу в заносах и жестоко простудил бронхи. Ушел в отставку и обрек себя на унылое холостячество. Была у Ильи тайна: сын Егорка. Мать Егорки — младшая Кочубеева дочь Вероника. Их особняк, облицованный гранитом, был виден из репинского окна. Муж Вероники, мот и гулака, имевший где-то на французском Средиземноморье второй дом, бывал в Питере наездами. Не в характере Вероники было мириться с этим. Не считаясь с людской молвой, не очень сообразуя свой поступок со сроками очередного приезда мужа в Питер, дочь принесла в большой кочубеевский дом сына и вскоре прогнала мужа, заодно и любовника, впрочем, взяв с него слово беречь тайну... Четырнадцать лет, что прошли с тех пор, Илья эту тайну берег. Николай да, пожалуй, Елена, которым открыл Илья заветный этот секрет, не в счет.

Человек нестарый и деятельный, Илья решил отдать остаток лет и сил истории, которой, впрочем, занимался и на далекой чужбине, — трудо славянском порте на Средиземноморье — плод этого увлечения. В нынешнее ненастье Илье было не до Средиземного моря. В городе ходили слухи, что на историко-филологическом отделении Академии, которое призрело Илью после его ухода из министерства, негласно существовал совет прорицателей политической погоды. Да, именно так их именovala петербургская молва, хотя сами себя они, возможно, и называли иначе.

Илья держал дом и брата на весьма почтительном расстоянии от своих академических интересов. Единственно, для кого все происходящее на Университетской набережной не являлось тайной, была толстая тетрадь в сером колемноре. Вечером, когда дом укладывался на покой, Илья раскрывал тетрадь и брал перо. Репнина не очень интересовало, что составляло смысл полумочных изысканий брата, но в одном не сомневался и Николай Алексеевич: вряд ли это была седая история.

А как складывалась жизнь самого Репнина? Ведь после смерти жены он остался один. Он был молод (сорок лет — начало жизни не только для англичан). Умен, образован, родовит,

хоть и не богат. На хорошем счету в обществе. Какой петербургский дом не хотел заполучить его в зятя! Но Репнин не спешил. Одни объясняли это тем, что он решил посвятить себя воспитанию дочери, и это походило на истину. Другие утверждали, что он любит женщину тайно и преданно, однако она, как это, увы, бывает часто, не свободна.

4

Они въехали в Леонтьевский, справа в пролете распахнутых ворот обозначился фасад Смольного. И Репнин вспомнил, как однажды чистым августовским утром он привел Елену в канцелярию Смольного института к княгине Елене Александровне Ливен. Начальница была приветлива, и это немало озадачило Репнина. Что скрывалось за добротой этой женщины, утомленной вниманием титулованной столицы? Все объяснилось тут же. Княгиня вспомнила свою поездку в Лондон, откуда вернулась накануне, и не без внутреннего смутения стала расспрашивать Репнина об обстоятельствах женитьбы своего племянника Алексея Ливена. И хотя Репнин отвечал вполне пристойно, начальница смутилась. Как ни самоуверенна была начальница, она понимала: такой разговор с человеком, которого она видит впервые, неуместен. Желая победить неловкость, начальница сделала жест, в иных обстоятельствах немалый: она вышла к дочери Репнина, которая ожидала отца в приемной, и, изобразив улыбку, произнесла:

— Поздравляю тебя, Елена, теперь ты смольнянка...

Для Репнина не явилось неожиданностью, что двумя неделями позже, приехав в Смольный навестить дочь, он встретил княгиню Ливен, и та едва узнала его. Очевидно, требовалась еще одна история с племянником, чтобы оживить прежний интерес начальницы к Репнину.

И вот сейчас они ехали черным смольнянским парком, черным от ветвистых, потемневших в оттепели дубов, и Репнику думалось, что все прежние посещения института были не этой весной или даже летом, а где-то далеко-далеко, за синей мглой лет, быть может в этом веке, а возможно, даже и в прошлом.

У парадного подъезда их встретил человек в форменной куртке путейца и, внимательно глядя на Репнина неулыбчивыми глазами, заметил:

— Ленин просил провести вас к себе, как только вы придете... Дочь? — Он развел руками, но, приметив строго сдвинутые брови девушки, произнес поспешно: — Полагаю, что можно.

В вестибюле было полутемно. Пахло морым сукном (где-то рядом сушились шинели) и салными свечами. Шли молча, путеец был суров необычайно. (Репнин слышал, как он отчитал Кокорева за то, что тот привез Репнина чуть ли не под конвоем. «Мальчишество и позерство! — говорил он негодуяюще. — Вы там у себя в Галиции привыкли всех водить под конвоем!») Теперь они шли коридорами, широкими и ровными, как степной пляж, и Репнин слышал шаг путейца — тот продолжал гневаться. Когда поднималась по лестнице, путеец поостыл.

— Простите, вам известен Чичерин? — Голос человека в форменной куртке потеплел. — Дипломат, ставший революционером.

Репнин взглянул на путейца — вместе с голосом оттаяли и его глаза:

— Это какой же... Чичерин?

Путеец смутился, быть может, ему показалось, что он затеял разговор, недостаточно зная предмет.

— Чичерин... в прошлом дипломат, сейчас политический эмигрант... кажется, в Лондоне. Просился в Россию еще в феврале, а угодил в лондонскую тюрьму.

— Ну конечно, Георгий Васильевич! — воскликнул Репнин. — Знаю...

Репнин хотел сказать еще что-то, но лестница кончилась, и собеседник Николая Алексеевича заключил:

— Вот мы и вышли на большую дорогу.

Да, пожалуй, не коридор, а дорога. Елена как-то говорила: коридоры Смольного измеряются верстами. Ну что ж, это удобно. От одного конца до другого — жизнь. Все вместит эта дорога — и появление на свет, и годы зрелого отрочества, и годы возмужания. И радость первого жизненного успеха. И как сейчас, пору ненастья. Впервые в эту ночь, шагая по сумеречным коридорам Смольного, он подумал, что в эти часы, в эти счтанные часы, еще до того, как над Петроградом, над его камнями и водами, взойдет бледное светило, в жизни Николая Репнина может произойти нечто большое и тревожное, нечто такое, что все сокрушит и вздыбит, что не могло произойти вчера, а свершится именно сегодня. Что случилось этой ночью и какие еще силы пришли в движение? Все ли из того, что стряслось в эти роковые месяцы, известно Николаю Репнину, или, быть может, история продолжает нести свои илстые воды в море и многое еще предстоит изведать людям из того, что они не знали. Репнин думал о Ленине и не мог вспомнить ничего, кроме того, что говорил как-то Илья: когда брат учился на естественном отделении Петербургского университета, он знал, и довольно близко, Александра Ульянова. По словам Ильи... Однако нужно усилить, чтобы восстановить все, что говорил

Илья об Ульянове. Помнится, он говорил о нем хорошо.

Коридор поворачивал налево — быстро прошли солдаты в кожанках, с виду самокатчики, девушка в гимнастерке, с короткой телеграфной лентой, которую она дважды обвила вокруг руки, человек в пенсне, быть может, студент или молодой ученый, тоже с телеграфной лентой — ее концы свешивались ему на грудь, как сантиметр у портного.

Очевидно, кабинет был где-то рядом.

— Вот мы и пришли, — сказал Кокорев и взглянул вначале на Репнина, потом на Елену, вернее, на обручальное кольцо Елены. Она заметила этот взгляд, но руки с кольцом не отняла — ей и прежде оно служило защитой. — Как видите, комната самая мирная. — Кокорев открыл дверь, за столом, покрытым синей бумагой, сидела девушка и ела хлеб, посыпанный солью. Хлеб был черный, и крупные солнышки лежали густо. Взглянув на вошедших, девушка покраснела и спрятала хлеб в стол.

— Вы Репнин? — спросила она, не глядя на Николая Алексеевича. Краска медленно сошла с ее лица. — Подождите, пожалуйста, — сказала она и ушла в соседнюю комнату.

Репнин взглянул на стол, за которым только что сидела девушка, и улыбнулся: в граненом стакане стояла зеленая веточка. Ее три листочка были блестящими и толстыми. «Только такие листья и могли не облететь в эту осень, — подумал Репнин. — Только им под силу огонь и стынь этой поры».

Девушка вошла со стопкой бумаг и, не закрывая за собой двери, безмолвно, движением глаз пригласила Репнина войти.

Репнин вошел в кабинет, ожидая увидеть смуглолицего человека с темными, по-степному горящими глазами (Илья говорил об Александре Ульянове, что тот был темноволос и кудряв), а Ленин оказался совсем иным: бледнолицым и светловолосым.

Владимир Ильич вышел из-за стола.

— Простите... Тот Репнин, что был в начале века российским консулом где-то в Сербии или Черногории, ваш отец?

— Нет, брат.

— Очевидно, старший?

— Старший.

Репнину хотелось сказать: «Да, да... старший брат, кстати, он учился и с вашим братом, Александром. По-моему, они были даже приятелями». Но Репнин смолчал. Ни к чему, решил он, совсем ни к чему.

— Значит, старший? А я... — произнес Ленин, удерживая пальцы у рта. Он не сказал, о чем подумал, но Репнин решил: очевидно, вспомнил статью Илья о средиземноморских портах — слабая дань старшего Репнина увлечению историей.

— Вот, вот... в я думаю... — Предложив Репнину сесть, Ленин быстро вернулся к столу, словно намереваясь тотчас приступить к делу, но, дойдя до кресла и даже отодвинув его, не сел, а, обернувшись, внимательно посмотрел на собеседника. — Что говорит вам такое имя — Чичерин? Нет, разумеется, не тот профессор и городской голова! — произнес Ленин с веселой иронией. — Я имею в виду его племянника... Георгия Васильевича...

— Чичерин? — переспросил Репнин, а сам подумал: «Опять Чичерин!» И на память пришел Караул: белый дом на холме, и с его крыльца на пятнадцать верст окрест широкая и мягкая равнина, милая неяркой и впечатляющей прелестью своей, очень русская — лес, свободный росчерк Вороны, тускнеющее поле, опять лес, а за ним полоска тумана. А потом прохладная ясность в кабинете Бориса Николаевича, дяди Чичерина. Просторный стол с аккуратной стопкой мелко исписанных страниц — Борис Николаевич уже писал тогда свои воспоминания — и рядом с этой стопкой иллюстрированный Бедекер — старик Чичерин любил листать его в редкие минуты отдыха.

— Я бывал в Карауле, их родовом поместье под Тамбовом, — заметил Репнин.

— У отца или у дяди? — спросил Ленин.

— Нет, отца уже не было в живых, у дяди... Я знал его до последних дней, а умер он уже в нашем веке в возрасте весьма почтенном.

— Погодите, значит... Борис Чичерин? А знаете ли вы, как однажды его хотели сделать ректором столичного университета?

Репнин воспринял: последняя фраза Ленина определенно импонировала его мыслям о Чичерине.

— Как же, — подхватил Николай Алексеевич и, взглянув на Ленина, осекся: тот был строг. — Можно по-разному относиться к Борису Николаевичу, но его образованность и ум...

Ленин вышел из-за стола и зашагал по комнате. Репнин подумал, что те несколько слов, которые он произнес, непредвиденно взволновали Ленина, хотя слова эти были самыми обычными: кто не знал, что старик Чичерин был человеком необыкновенно наторевшим в разных науках.

— Ну, знаете! — бросил Ленин нетерпеливо, и Репнин понял, что его предположениям суждено сбыться: лаконичная реплика Репнина о Чичерине действительно задела Ленина за живое. — Кому не известно, что Чичерин пытались перевести в Петербургский университет вовсе не за янтеллект и ученые доблести.

Репнин взглянул на стену, по которой пронеслась стремительная тень Ленина.

— А за что? — спросил Репнин недоуменно. Ленин явно вызывал его на спор.

— Его хотели сделать щитом, — не без раздумья добавил Ленин.

— Щитом? — Недоумение достигло предела. В самом деле, какое отношение «щит» имел к старику Чичерину? Нет, если и было в природе слово более неуместное сейчас, то только это.

— Щитом, дабы оградить двор от натиска молодых... — Ленин все еще стоял перед Репниным. — Где щит, там и меч. Нет, скажите, какой смысл монарху заводить роман с либералом, да еще таким, как Борис Чичерин... Аннибал либерализма?

Репнин ничего не ответил. Наступило молчание. Оно было долгим и тягостным. Когда Репнин подвыл глаза, Ленин сидел за столом, как показалось Николаю Алексеевичу, смущенный и тихий. Быть может, он даже ругал себя, что опрометью ринулся в бой и оборвал важную ниточку.

— Погодите, а не писал ли ваш брат о средиземноморских портах? — спросил вдруг Ленин. — Да, о необходимости помочь южным славянам соорудить порт на Средиземноморье в обход Константинополя? — Он все еще хранил в памяти фразу, с которой разговор начался.

Николаю Алексеевичу хотелось сказать: «Как же, писал! Именно брат, кстати, тот самый, что был однокашником Александра Ильича», но Репнин снова остановил себя: «А надо ли? Еще подумает — не преминул воспользоваться этим пустяком. Нет, мне это ни к чему, решительно ни к чему».

— Да, это статья брата, — сказал Репнин.

Владимир Ильич посмотрел на него: не надо было затевать разговор о старике Чичерине. Неужели не ясно, что для Репнина профессор Чичерин — ученый муж, почтенный гражданин, патриот. В этом разговоре определенно не было смысла. Или все-таки был смысл? Почему не сказать правду, прямо и бескомпромиссно, даже если какой-то контакт в беседе будет на время оборван. Натянулась ниточка и звонко лопнула, ей не под силу, этой тонкой ниточке. Пусть его собеседник знает, что Ленин намерен говорить прямо и открыто, и то немногое, что их сближает, пусть служит этой цели...

Репнин взглянул на стену, потом на стол. Только сейчас он увидел: на мраморной доске чернильного прибора стоял стакан и в нем зеленая ветка, точно такая, как у девушки, что сидела при входе. Видно, веточку принесли девушке, и она разделила ее: три листочка себе, три Ленину.

— Нет, старик Чичерин был вам мил больше, чем мне, — засмеялся Ленин. Ему вдруг

стало бесконечно смешно, что он вознамерился склонить Репнина на свою сторону в таком более чем деликатном вопросе, как назначение профессора Чичерина в Петербург. Он смеялся самозабвенно, не тая голоса (в том кругу, к которому принадлежал Репнин, никто не смеялся так громко). — Вот о молодом Чичерине мы думаем одинаково. Верно? — спросил Ленин.

Репнин улыбнулся:

— Пожалуй.

Ленин встал из-за стола.

— Так вы знали Георгия Васильевича еще по Тамбову?

— Нет, не только... — Николай Алексеевич помедлил с ответом. — Позже мы встречались в Лондоне, и не раз. — Репнин вспомнил длинные вечера в мансарде на Ооклей-сквер, такие же длинные прогулки с Чичериным вдоль Темзы, весенней, укрытой теплым туманом, и зимней Темзы, прохваченной северо-восточными холодными ветрами. «В этом мире, — задумчиво говорил Чичерин, глядя на темные глыбы зданий, — есть один мотор, который может привести в движение и ум, и интеллект, и знания, и талант, — капитал. Впрочем, даже в том случае, если нет всех или некоторых из этих достоинств, мотор действует». Помнится, Репнин хотел сказать другу нечто резкое: «Ты узурпировал мою бедность и хочешь обратить меня в свою веру!» Хотел сказать, но так и не сказал. — Он был политическим изгнанником, а я секретарем посольства, — произнес Репнин, внимательно глядя на Ленина.

— Это на Чешем-плейс? — спросил Владимир Ильич.

Репнин подумал, что Ленин, наверно, бывал на Чешем-плейс, когда жил в Лондоне. Впрочем, изгнанникам вход в посольство был заказан. Да они и не очень туда стремились. А на Чешем-плейс Ленин определенно был — это Репнин понял по фразе, которую произнес Ленин только что. Пошел туда специально? Нет. Просто занесло случайным ветром, поднял глаза и увидел каменное здание на углу, может, даже с трехцветным флагом. «Россия?.. Россия ли?» И, прибавив шагу, стремительно прошел мимо. И Репнин вдруг увидел, как Ленин пересекает Чешем-плейс, — шаг широкий, как и размах руки, сложенный зонтик зажат надежно, воротник демисезонного пальто поднят, и котелок чуть-чуть сдвинут на лоб.

— Да, на Чешем-плейс. Однажды он пригласил меня посетить его в мансарде на Ооклей-сквер. Как вы понимаете, такого рода визиты не могли поощряться в посольстве, но отказать было бы непорядочно.

— Вы пошли?

— Не потому, что разделял его воззрения, а просто так... в знак старого товарищества.

Ленин откинулся на спинку кресла, взглянул на Репнина внимательно.

— Я не скрою, — произнес Ленин, — что адресуюсь сейчас к вам по рекомендации Чичерина.

Наступила пауза; видно, не просто было вести разговор: одному — начать, другому — подержать.

— Вы были третьего дня на собрании в иностранном ведомстве, когда туда явились наши комиссары? — спросил Ленин.

— Был.

— И вы, конечно, знаете, как мы поставили вопрос? — Ленин взял ручку и легонько ударил по столу. — Всех, кто хочет служить Советской России, мы приемем как равных... Именно так был поставлен вопрос?

— Да, именно так.

— И вы сказали вместе со всеми «нет»?

— Разумеется.

Ленин протянул ладонь и тронул зеленую веточку, тронул оберегающе, как трогают голову ребенка.

— Сказали категорически?

— Да.

Ленин посмотрел в окно: там уже начинался рассвет, выступили контуры соседнего здания, белая полоска снега на крыше, невысокая мачта и, кажется, флюгер на ее вершине.

— А мог бы я вас спросить, Николай Алексеевич... — Ленин впервые так назвал собеседника, — мог бы спросить: почему?

Репнин взглянул вслед за Лениным в окно и там, дальше, за крышей соседнего дома, выше трубы, выше мачты, выше флюгера на ней, явственно рассмотрел купола Смольнинского собора, пока еще тусклые, но отчетливо прорисованные на бледном поле рассветного неба.

— Почему? — Наверно, Репнину явилось желание высказать этому человеку все, что сейчас думал. Сказать, что единственно, о чем он мечтает, это служить России, служить ее величию, чтобы навсегда ушли в небытие ее беды и несчастья — деревни, опустошенные сыпняком, поля, сожженные солнцем, сохи на полях, лучины в избах, чтобы канула в вечность эта дремучая тьма, которая, точно вода в половодье, вон как широко разлилась по России. Репнину хотелось высказать все это. — Почему? — повторил он и ответил одним махом: — Веры нет...

— Ну что ж, я на том спасибо.

Ленин встал. Возможность возразить собеседнику, спихнуться в споре прогнала усталость. Он дошел до окна, бросил в него быстрый взгляд, обернулся и пошел к Репнину.

— Вы очень богатый человек?

Репнин смеялся.

— Вы получили от могущественных предков нефтяные земли?

Репнин окончательно смеялся — не ждал, что вопрос будет поставлен так прямо, с такой грубой, как ему казалось, прямотой.

— Немного земли, отнюдь не нефтяной.

— Тогда что же вы защищаете?

Репнин качнулся в кресле.

Ленин не сводил с него глаз.

— Да, что вы защищаете, когда говорите нам «нет»? Сердцем, разумом, наконец, жизнью своей, какую истину?

Репнин вздохнул и посмотрел в окно и вновь увидел купола Смольнинского собора. Небо разгоралось позади них, и купола становились все объемнее. И, странное дело, вид этих куполов горячо стеснял грудь.

— Всегда, сколько помню себя... — сказал Репнин и запылся. — Всегда... — продолжал он не без усилия, — отказывая себе во многом, разрешал одно — говорить правду.

— Я прошу вас об этом.

— Самую жестокую и злую... правда всегда зла, — сказал Николай Алексеевич.

«Какая сила родила в этом человеке такую ненависть к тому миру и воодушевила на такое подвижничество? — думал Репнин. — Мученическая смерть брата и желание отомстить всем убийцам на века и века (отмщение правого способно обрушить небо)? Или идеал, тот высокий идеал, который разбудил и повел на смерть Пестеля?.. — Репнин смотрел на Ленина. — Нет беспощаднее огня, чем горе, однако оно и способно родить чудо. Какая сила вызвала к жизни этого человека?..»

— Я отнюдь не считал тот порядок жизни совершенным, но он был устроен людьми, которых я уважаю, устроен не вчера и не сегодня... — Репнин смотрел Ленину в глаза. — И я не могу признать нынешний порядок более справедливым только потому, что он утвержден силой.

— Сила не всегда синоним несправедливости! — бросил Ленин.

— Но вы принудили, вы... — произнес Репнин.

— Принужденно, к которому обратились мы, благо, — сказал Ленин и улыбнулся — он был непоколебим в своей жизнерадостности.

— Благо?

— Благо, — сказал Ленин и улыбнулся вновь. — Оно служит интересам большинства.

Теперь встал Репнин, он почувствовал, что этот невысокий человек с выпукло-сильным лбом и быстрым взглядом, непобедимо веселый даже в эту воинственно-суровую пору, очень хорошо понимал, что происходит в мире, верил в свою большую веру и, главное, знал, что надо

делать, только он и знал сейчас во всем мире, во всем бесконечно просторном мире, что ему надлежит делать.

— Но вы повели за собой это большинство, не сказав ему всей правды. — Репнин на миг задумался, опустив глаза. — Вы не дадите ни земли, которую народ жаждет, ни мира, по которому народ исстрадался.

— Мы дадим ему и землю, и мир... Как вы относитесь к декрету о мире? Вы полагаете, это отступничество? — Ленин вернулся в свое кресло. — Кстати, о мире. — продолжал Ленин, он понимал, как труден для Репнина этот вопрос, и не настаивал на ответе. — Мы предполагаем предать гласности все тайные договоры. Никакая злоба врагов не остановит нас на этом пути. Пусть народ видит, зачем его гнали на убой. Нам необходимы совет и помощь человека, который знаком с правовыми нормами, знает тексты... — Ленину назалось, что Репнин помрачнел, но теперь он хотел досказать то, что начал. — Помогите нам в этом.

Репнин поднял глаза — за окном неярко, но все более зримо светились купола.

— Сказать вам «да», значит, отречься от прошлого и будущего, — ответил Репнин.

— Прошлого — да, но не будущего.

Репнин забеспокоился.

— Простите, — произнес он дрогнувшим голосом и умоли: надо было набраться сил. — Но, быть может, вы меня приняли за кого-то иного? Я Николай Репнин, русский дворянин, вице-директор второго департамента Российского министерства иностранных дел... Вы не ошиблись?

— А может, и в самом деле ошибся? Но тогда ваш уход из лондонского посольства, и объяснение с послом Бейкендорфом, и все, что в газетах получило название «репинской истории», не было вызовом официальной России, а следовательно, протестом против войны?

— Мне была ненавистна эта война... Кроме слез и неслыханного позора, она ничего не дала России.

Ленин не сводил с собеседника глаз — он знал, все решится сию минуту.

— Но какой смысл вам вести себя так, как вы ведете себя сейчас?

Репнин медленно поднялся:

— Да, но это нечто совсем иное.

Они простились, и, уходя, Репнин осторожно закрыл за собой дверь, но прежде чем сделать следующий шаг, взглянул на стол, за которым сидела девушка, и увидел зеленую ветку в стакане. Он коснулся ладонью листьев и, вспомнив жест Ленина, точно такой же оберегающий, задержал на миг руку. Задержал и тотчас оттаял, натолкнувшись на остро внимательные глаза человека, стоящего у окна.

— Знаю и я эту Медную гору, как, впрочем, и асер Сладкопевцев, — пронес человек, обращаясь к своему собеседнику. Во внешности этого человека, как показалось Николаю Алексеевичу, было нечто польское: узкое лицо, чуть удлиненный, с крупными ноздрями нос, лоб с залысами, темно-карие глаза, одновременно рассеянно-туманные и сосредоточенно-твердые, достающие до дна. — Из Верхоленска мы бежали вместе... «Червоный штандарт» был позже...

Странно, но все время, пока Репнин шел по длинному смолянинскому коридору, сопутствуемый молчаливой Еленой, он думал о человеке с остро внимательными глазами. Какая тропа привела и его в Смольный? Наверно, интеллигент-фанатик, борец за польскую свободу. Кирсановка Репниных стояла у тракта, по которому гнали поляков в Сибирь. Сколько помнит Репнин, среди них все были интеллигенты: бледнолицые с орлиными глазами, в желто-серой арестантской одежде. Наверно, и этот с бородой и залысами ходил длинным трактом в Сибирь...



Они покинули Смольный, когда туманное утро уже пробивалось к Петрограду. Всю дорогу Репнин не проронил ни слова. Нелегкие думы овладели им. Они были медленны, эти думы, точно нельская вода, что видна была с Троицкого моста в расселинах льда, и, пожалуй, черны тоже, как она. Неожиданно пришла на память фраза Ленина: «Как вы относитесь к декрету о мире? Вы полагаете, что это отступничество?» Где-то здесь был ключ к беседе.

Репнин поднял воротник, точно хотел, чтобы густой мех отгородил его от всего, что лежало рядом: от столпотворения камней большого города, от снегов, от неба, от лилово-серой нельской воды, от всего, что возвращало мысль и чувство к пережитому. Репнин хотел, чтобы глаза его видели только то, к чему была устремлена мысль, лишь это.

Декрет о мире, как первооснова новой дипломатии, ее главный закон, ее конституция? Декрет о мире, как детница дипломатии, которая не столько материально творит, сколько утверждает идеи, демонстрирует, вызывает к сознанию страждущего человечества? Или, наконец, декрет о мире как средство отступить от союза, изменить товарищу по оружию, предать? Нет, Репнин должен нащупать твердое ядрышко истины сам. Легче всего провести мысленную черту между тем миром и нынешним и провозгласить начало новой эры. Труднее эту черту провести в собственном сознании и внутренне согласиться с тем, что того мира нет, во крайней мере в России. Итак, что же произо-

шло? Верно, Россия три года была союзницей стран Согласия и честно несла нелегкий крест. Порукой тому миллионы ее сынов, что не могут уже встать из мокрой галицийской и привисленской земли. Но Репнин и прежде считал, что, кроме неслыханного позора, война ничего не дала России. А если так, то выход из войны для России благо. Благо даже, если Россию обвинят в отступничестве. Но декрет о мире претендует на большее. Как понимает Репнин, это единственный в своем роде дипломатический документ, адресованный не столько правительствам, сколько через их голову — народам. Декрет утверждает истины, одно упоминание которых способно воспламенить и камень: равенство больших и малых наций, ликвидацию всяческого угнетения и колониального господства, ликвидацию тайной дипломатии... Да, декрет провозглашает отмену тайной дипломатии и обещание вести все переговоры открыто. Тайна, как первооснова дипломатии, объявлялась крамольной, а министерство иностранных дел в сущности становилось министерством европейской революции... Нелегко было улыбнуться Репнину сейчас, но он, кажется, улыбнулся. Николай Репнин — директор департамента министерства европейской революции! Парадоксально! Декрет о мире, как команда к атаке, на тот мир, призы к всеобщему наступлению революции... Нельзя же представить, чтобы Репнин оказался среди атакующих.

Они вернулись домой в девятом часу, фиолетовые от холода и бессонницы, равнодушные ко всему. Им открыла Егорова. Она кинулась на грудь Репнину в привалясь реветь в голос — наверно, так солдаты встречали мужей, вернувшихся с войны.

— Уймись, — молвил Репнин, сняв ее руку со своей шеи. — Безого света постыдись... — бросил он, указав на окно, из которого цедился рассветный сумрак.

Он попросил Елену дать ему чай погорячее и вторые одеяло. Когда Елена принесла чай, он стоял в дальнем конце комнаты, прижав спиной к теплой кафельной стене, едва удерживая веки, чтобы не уснуть. Елена встала перед ним.

— Вот мы и вернулись, — сказала она почти лгуяюще.

Когда, проснувшись, он отодвинул шторы, на дворе был уже вечер, лежал синий снег и мигали звезды, задуваемые ветром, — ветер был жестокий, балтийский, ему под силу задуть звезды.

Репнин понял: в тревожном и, быть может, больном сне он оставался весь день. Но сейчас голова была свежа и глаза ясны — это он почувствовал, когда смотрел в окно, прежде он не видел в природе такой ясности. Все, что про-

изошло минувшей ночью, впервые встало в сознании так отчетливо. Он вспомнил разговор с дочерью: «Вот мы и вернулись!..» Страх, да, страх, который внушал тот мир ночью, перестал быть страхом... Но воодушевило это его на борьбу или на примирение с тем миром? Нет, поразительная ясность, которая только что открылась за окном, была обманчива. И тогда он вспомнил Настеньку. Он сказал, что будет сегодня. Репнин вдруг почувствовал: никого не хочется так видеть, как ее. Вот сейчас встать и через город, через эти тишину и ясность, сквозь мороз и ветер — и ней, отбросив к дьяволу все условности — и поздний час, и мужа... Мужа? Ну, ему-то у дьявола надлежит быть отродясь!

Репнин, когда он этого хотел, мог действовать стремительно. Ровно через полчаса — те самые полчаса, которые требовались ему в самых чрезвычайных обстоятельствах, чтобы собраться и быть готовым предстать перед любимой женщиной или министром, — извозчик, одержимый веселой и злой лихостью, мчал Репнина через весь город на Кировную.

7

Мысль, что они могли в жизни разминуться, позднее казалась ему невероятной. У дочери Губина (в первом департаменте министерства он занимал то же положение, что Николай Алексеевич во втором) был день рождения. Отцы дочерей на выданье уже начали на Репнина облаву. Репнин купил традиционную корзину хризантем и поехал к Губиным. Дочь вице-директора, такая же тщательно промытая и худая, как отец, но только без усов, сидела рядом с отцом и торжественно молчала, будто ее навечно обрекли быть именнинницей. И вот часу в одиннадцатом, когда встали из-за стола и начались танцы, пришли новые гости. Репнин был за карточным столом, когда появилась она... нет, ее он не рассмотрел, лишь увидел, как она возникла в дверях и тут же исчезла. В следующую секунду муж стоял перед Репниным. Он был высок и худ. Белые, с рыжиной усы слегка топорщились, при этом левый ус был заметно гуще правого. Румянец на щеках незнакомца был непрочным. Он, точно ветхая ткань, расползался по нитям. Ярко-красные нити, оборванные, будто вздутые ветром, разметались по лицу, лежали в уголках губ, на подбородке, на висках, даже на веках. Но чем дольше стоял незнакомец перед Репниным, румянец не убывал, а разгорался. Видно, человек, стоящий напротив, был немало увлечен всем тем, что происходило за ломберным столиком, — он наверняка был отчаянным игроком.